
Никита Контуков

«КРОВЬ МОЯ, ЗА ВАС ИЗЛИВАЕМАЯ»

Рассказ

Мать ругала настоящее и хвалила старые времена, и Мансур, на мгновение задержавшись в коридоре, подумал, как сильно она постарела за последний год. Он обнял ее и прижал к себе, крепко, до хруста костей.

Профессор, выполняя распоряжение Хасана, вызвонил его в послеобеденный час и пригласил на встречу. Всю ночь Мансур собирался провести у изголовья больной матери, сидя в кресле возле тумбочки с сердечными каплями. Мать все-таки права, седьмые зубы съедает: раньше ответственность ложилась на плечи всех соучастников, согласно исконной советской убежденности в спасительном влиянии коллектива. Мансур еще помнил дни, когда его люди поочередно пребывали в заточении и клялись, как декабристы, отдать свою жизнь за народное благо. Теперь все решал их дурацкий жребий: вытянул счастливый билет — живи да радуйся, несчастливый — не взыщи. Мансуре не повезло, как родившейся осенью мухе. Он бы остался, конечно, с матерью. Да и на улице дождь опять же: холодно и сыро, как это бывает посреди затянувшейся осени. Но нельзя было нарушать закон. А слово их было законом, — они ведь всю масть держали.

Мансур еще раз взглянул на мать, погладил ее плечи и быстро отвернулся, чтобы она не заметила, как в полумраке коридора блеснули его глаза. Он-то ладно, а вот мать пропадет. Непременно пропадет, лишившись осевой точки, на которой она вся и держится.

Едва узнав о случившемся, Надежда Валерьевна вознегодовала: не ходи — не к добру это! Жалобила, вспоминая Мансура в младенческих летах, когда бережно укладывала его в кровать. По обыкновению, занималась самобичеванием: это она виновата — плохо, значит, воспитала. Как могла допустить? Почему не предвидела? Не сумела вырвать малого шалопая из лап коварной улицы, вот он и связался со всякой дрянью. Это ведь зверье, нелюди. У них даже генный набор другой. Им человека ухандохать — раз плюнуть.

Мансур показал спину и, не оборачиваясь, быстро исчез за дверью. Спускаясь по лестнице, он слышал, как мать громко всплипывала.

Контуков Никита Александрович — свободный художник. Родился в 1987 году в Подольске. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

На улице было свежо. Все как-то враз преобразилось, стало легче дышать. Страх улетучился, ибо знал Мансур, что час пробил и нельзя умолить ангелов Господних вытянуть его на светлый берег. Времена-то действительно изменились: бритоголовые ребята в кожанках, отломив от вождельного пирога, как-то неожиданно ступили на стезю добродетели и даже внешне стремились к респектабельности и лоску, провозглашая своим идеалом тихую семейную гавань да палисадник. Никто не желал лишнего шума, тех же, кто до последнего упирался рогом, тихонько убирали, но в целом это были милые и приятные люди, пусть и отгородившиеся от мира и не верящие в надличностные ценности и чудеса всечеловеческого братства. И Мансур не смел роптать: во всем его облике сквозила какая-то виктимность, обреченность, как у скотины, ведомой на убой. Отказаться все равно нельзя — шутить эти парни не любят.

Он пришел на встречу в послеобеденный час, как и договаривались. Пацаны хмуро глянули в его сторону, но в их хмурости проглядывало задумчивое сочувствие: прости, братан, на этот раз не фартануло. Постепенно лица их размягчились, просветлели, и вот они вроде как уже не гады последние, а местами так даже и на людей похожи.

Мансур грустно улыбнулся. Дни неумолимо бежали вперед, тасуя потери и обретения: он исправно подавал нищим, но от судьбы откупиться не смог.

Это они с ним еще по-божески поступили. Хасана вон с постели подняли — и пинками под зад. Тогда еще очередность соблюдалась, не щадили никого, даже признанных авторитетов: подписку-то все давали, в том числе и Хасан. Он у них главарь был, всех местных под себя подмял. Как-то раз его выставили за порог в одних трусах, а потом провели через весь город, как какого-нибудь залетного лошка. В трусах да тапочках — ни одеться, ни обуться он не успел. Да еще на рынок завернули, где каждый торгош ему в пояс кланялся и платил солидную мзду. И вот прямо у них на глазах один из дружков отвесил Хасану подзатыльник, второй ткнул его в спину, небрежно так, двумя пальцами, словно боялся испачкаться, словно это не Хасан никакой, а разгуливающий на свободе презираемый всеми петух.

— Пшёл! — крикнул кто-то из случайных зевак. — Бегом давай.

Чумазый оборванец швырнул в него камень и, попав под колено, да так, что у Хасана ноги подломились, радостно вскрикнул. Малолетняя блядва с хрустом грызла яблоки и громко хихикала: «Вот несчастный! Любишь кататься — люби и саночки возить». Но Хасан с гордостью сносил унижения: они плевали ему в лицо, а он терпел, не проронив ни слова. Некоторые отводили глаза, не в силах взирать на жуткое зрелище, когда сильный человек оказывается беспомощным, и Хасан чувствовал еще большую досаду из-за их снисходительного превосходства. Лучше бы плевали в лицо и били палками по голове! Лучше ненависть, чем жалость. К тому же их жалость нарушала договор, и из-за таких вот добрых сердец грядущий год мог выдаться неурожайным, скотина — сгнить, торговля — перестать приносить доход. Лучше ненависть. Только ненависть!

Когда же на смену очередям пришел жребий, конвоиры стали лояльнее: они давали человеку возможность как следует выспаться, надеть что-нибудь попримичнее и заушали только для виду.

Радуйся, Мансур! Ты преодолел духовную пустыню и положил свою жизнь на великое дело: если и скидывал крупные козыри, когда еще ничего толком не решалось, вынужденный отбивать случайные шестерки, то в решающий момент не стал уклоняться от возложенной на тебя миссии. Казалось, Мансур только для того и родился, чтобы

пострадать за человечество, и в тигле его расцветшей души грядущие страдания претворялись в радость.

— Ты извини, Мансур, — сказал Профессор от лица всей прикентовки. Всем же не по себе было: старая дружба трещала и расползалась по швам, как изношенные портки. — Между нами — веревка. Крепкая. Но ничего не поделаешь — случай.

Мансур молча кивнул. И родственные союзы слабеют, чего уж там. Но Хасана уже начинала раздражать эта слащавая комплиментарность. Лучше быть суровым и не ограждать себя от огрубевшей реальности, а эта доброта все дело им завалит, как домино.

— Пойдем, Мансур, — строго приказал Хасан. — Дело забывчиво, тело заплывчиво.

Они прошли несколько шагов и остановились, близко, лицом к лицу, посмотрели друг на друга, долго и испытывающе. Хасан ему врезал, неожиданно, с короткого размаха, так сильно, что Мансур, путаясь в собственных ногах и отлетев метра на два, повалился на землю, сплюнул кровью.

— По-нашему, по-тамбовски, — одобрили гогочущие пацаны.

Мансур задыхался громко, со свистом втягивая воздух сквозь стиснутые зубы. Никакой пощады и жалости. Дружно налетели остальные и принялись добивать ногами, словно хотели выколотить из него, как пыль из старого ковра, все человеческие пороки. Мансур криветкой сворачивался под ударами тяжелых ботинок, инстинктивно закрывая лицо, но не проронил ни слова. Таковы были правила. Принципиальный Хасан, как и подобает человеку, лишённому внутреннего содержания, требовал буквального исполнения ритуала, в такие минуты им овладевала мания конкретики. Долг предписывал изувечить жертву, вывалить на нее избыток ненависти.

А ведь Мансур не был благонаправленным мальчиком, нет! Вечно он пропадал во дворах, пил водку наравне со взрослыми, а однажды, еще до того, как попал под влияние Хасана и его дружков, в одиночку грабанул в чужом районе ларек. Школу он посещал редко, учителям постоянно грубил. Матери Мансура говорили, что у нее растёт настоящий звереныш: «Вы с ним начеку будьте, такой ведь и убить может!» А юноша и с матерью не больно церемонился: когда денек выдавался не больно хлебный и он возвращался домой с пустыми карманами, приходилось чуть ли не милостыней пробавляться, выпрашивая у родительницы умоляющим голосом: «Налей, а, — хоть капелюшечку». И мать, конечно, никогда не отказывала, наливала ему вровень с краями. Имелся у нее для таких вот случаев неприкосновенный запас. Она доставала из невыскребенных сусеков бутылочку и закусь, готовила немудреное застолье. Да еще радовалась в душе печальной материнской радостью: пусть лучше с ней за одним столом опрокидывает стаканы, чем пьяный на чужих дворах валится. За день ничего не украл — и на том спасибо. А то ведь и за мелочевку всякую мордень разукрасить могут.

И теперь этот самый Мансур, разбитной типчик, обожавший затевать драки, безропотно перемогал боль, подставляя обидчику щеку для удара. При других обстоятельствах он не побоялся бы всецело и Хасану, разбить ему харю в кровь, а оторопевших пацанов разогнать, как подкожную шуштуру. Мансур бы не побоялся, это всякий скажет. Тем паче Хасан постепенно терял казавшуюся незыблемой власть, и прикентовка давно подумывала о смене лидера, а Мансур на его роль подходил идеально.

Хасан возрадовался воле жребия: имелись у него личные мотивы отдать Мансура на заклятие. Ирина Егоркина, давно прижившая от Хасана сына Максима, не гнушалась промискуитета, все парни на районе знали, что она подлая трахучая тварь, которой все равно, с кем кувыркатся — лишь бы палка была тверда. Знал об этом и

Мансур, приходивший к распутной бабе снять напряжение после очередного дела. Он засовывал ей член в самую глотку и терся головкой о миндалины, а потом бурно кончал с животным рыком. В это время десятилетний Максим сидел в соседней комнате, уткнувшись в монитор компа. Его настолько раскормили, что рубахи на его детских плечиках были тесны, а молнии на нем не застегивались, и даже ходил он как-то странно, по-медвежьи, держа руки враскоряк. Но Максим упрямо жрал булки, заедая тоску, вызванную нехваткой материнского внимания.

Мансур жалел мальчишку и время от времени подкидывал Ирке денег, хотя и понимал, что таким матерям матки надо вырезать сразу. А Хасан возьми да и влюбись в нее насмерть. Он же знал, что Ирка — шалава панельная, знал, но ничего с собой поделать не мог. Рогами за притолоку цеплялся, а все равно любил.

Тогда Хасан страстно возжелал истребить Мансура: он почему-то видел в нем главного соперника, словно Ирка не спала со всеми подряд.

Пацаны его разубеждали: ну снесешь ты Мансуру башку и что дальше? Ирку все равно не исправишь, играет в ней дурная кровь. Это болезнь такая: с ранних лет она таскалась по мужикам и даже на пятом десятке ей хотелось попробовать что-нибудь новенькое, аж до визгу. Подолгу в ее постели никто не задерживался, а Мансур вовсе сбежал по собственной воле, узнав, что от беспорядочных половых связей у Ирки полезли болячки. Хасан же был неумолим: к другим он притерпелся — на месте вечно болевшего участка души затвердела мозоль, но Мансур, Мансур... Это же настоящее предательство!

— Последнее желание, — возвестил главарь, и пацаны враз прекратили избиение. Переглянулись, смущенно потупив головы.

Последнее желание! Да, было еще «последнее желание», как у американских заключенных. Некоторые обжирались, умирая от несварения желудка, или бабу просили снять. Вот когда человек перестает быть человеком и превращается в животное, лишённое ума и всяческого внутреннего закона, и сохраняет лишь свои физические желания, которые напоследок пытается удовлетворить. Настоящее проступает сквозь наносное. Всю жизнь прожил в плену иллюзий, не догадываясь, какой внутри него сидит зверь. Отъявленные трезвенники, расчеловечиваясь, пили диким манером, добропорядочные мужья требовали разврата, потакая телесному низу.

Мансур, обтирая с лица кровь, попросил отвезти его в родной микрорайон, где незаметно, впрямельк, пронеслись дни чистого детства. Дом, знакомый ему до мельчайших облупинок. Тесный дворик, заваленный каштановой листвой, — здесь они кидали друг в друга снежки и отбивались от чужаков. И даже веревка осталась, неровно подпираемая шестом, — на ней по-прежнему трепались белые простыни.

Хасан, удивленно пожав плечами, распорядился потухшим голосом:

— Поехали.

Вот же чудак этот Мансур! Ему бы телок назвать да жратвы побольше, а он по дому затосковал, как выброшенный на улицу шенок.

А Мансур думал, что было бы здорово все вернуть — отмотать пленку, как в кино, назад и снова попасть в детство, в тот же день и тот же двор.

Был у него незакрытый гештальт: хотелось отыскать отца и хорошенько его припечатать. Он и с преподавателями-то ругался из желания спровоцировать в отношениях конфликты, нерешенные с родителем, презируемым алиментщиком, ушедшим из семьи. Особенно доставалось историку: вел, например, Виктор Сергеевич урок, обстоятельно рассказывал, наморщив лоб, об Иване Грозном, который прикладывал к своим зловонным язвам изумруды и сапфиры, или о том, как Павел Первый был задушен в своей опочивальне, а Мансур, не дождавшись звонка, вскакивал

из-за парты и громко разговаривал с воображаемым собеседником. Виктор Сергеевич выходил из себя и, взывая к дисциплине, повышал голос, превращаясь из друга учеников в карательную силу. Он обещал вызвать в школу родителей Мансура, называл его хулиганским отродьем, а тот лишь нагло усмехался краем рта и рвал в клочья дневник.

Выйдя из машины, Мансур потянулся, разминаясь после долгой езды. Все было на месте: и дом, и еще неубранная листва, оброненная каштанами, и веревка, и шест, и даже старые качели поскрипывали ржавыми петлями. Ему почему-то казалось, что после его переезда двор непременно зарастет крапивой да репьями в человеческий рост, а квартира опустеет, храня кислую вонь нечистого жилья. Но двор был прибран, хоть и не изменился ни на одну морщинку, а дом, признанный аварийным, до сих пор не снесли, и жильцы гнездились в нем, как семечки в арбузе.

Где-то неподалеку мыкался его отец, человек с гнутой-перегнутой судьбой, растерявший на ее крутых поворотах семью, профессию и последние зубы. Жалкий, как обгрызенное яблоко, он уже не будил приступы Мансуровой ненависти: Мансур мог ненавидеть равного, могущественного врага, например, попирающего его интересы, отца же он презирал как существо низшего порядка, нечто незначительное, несущественное. О такого даже руки марасть не хочется, словно это никакой и не отец, а отпетый шпаненок.

— Я должен его найти, — мрачно бросил Мансур. — Мое последнее желание.

— У тебя что, башню склинило?! — разозлился Хасан, а Профессор бросился Мансору наперерез и принялся ему втолковывать:

— Авраам принес в жертву собственного ребенка, потому что так повелел Бог. *Alea iacta est*. Жребий брошен. Ты — жертва. Ты не можешь отступить. Твоя ретирада — предательство. Подумай о других: обо всех нас, о людях.

Ага, вон как они запели! Нашли крайнего, беспрекословно подчиняясь воле Хасана, как шестерки — пахану, а теперь о людях вспомнили, об ответственности коллективной заговорили.

Мансур догадывался, что эти парни вели подковерные игры и пробивались в дамки, подобно офисным клеркам, путем подсиживаний, доносов и виртуозного лизательства. С диссидентской отвагой он плевал против ветра, когда ему уже приготовили зиндан, опрокидывал сложившиеся традиции и с мстительным удовольствием повторял, как заклинание:

— Я должен его найти, иначе год будет неурожайным: все заглохнет, убирать будет некому — хлеб начнет осыпаться. Упадут надои и привесы.

Профессор задумчиво поморщился, а Хасан, не приученный к таким афронтам, досадливо отмахнулся:

— Ладно, ищи.

Кто-то говорил, что он живет на той же улице в старой пятиэтажке, но было как-то странно искать человека, который ушел однажды и ни разу не проявился в жизни взрослого Мансура. А вдруг он его не узнает. Вдруг из-за его сыновней обиды пострадает ни в чем не повинный человек, который, завернувшись в любимый халат и собираясь покурить на балконе в жестянку из-под скумбрии, услышит трель неожиданного звонка и, сбитый с толку, лениво шаркает открывать дверь, долго провозится с замком, приоткроет, натянув цепочку...

Может, он съехал давно. Или сперва спросить, а потом дать ему в хлебало. Цепочку-то он порвет — не проблема. Но есть риск оказаться в идиотском положении. Простите, не подскажете, где проживает такой-то. Да, это я, — гордо ответит жирный

мудак в халатике. Ну, получай по зубам, сука. Или: простите, такие здесь не живут, — и показать спину, беззлобно послав его к чертям.

И потом, нужно внутренне себя подготовить. Нельзя же просто взять и всечь ему прямо с порога. Мозг-то, согласно Бехтереву, уже знает обо всех принятых Мансуром решениях, но душа еще колеблется. Душу-то подготовить надо.

Миновав лестничное пространство, засоренное семечной шелухой и окурками, Мансур остановился перед дверью, пригладил пятерней взлохмаченные волосы и решительно утопил кнопку звонка. Открывать не торопились. Послышался скрип половиц и шум пододвигаемого стула. Залило черной пустотой дверной глазок.

— Кто там? — раздался безгрешный мальчишеский альт.

— Открывай, — басовито пробухтел Мансур. — Свои.

Щелкнул дверной замок, дверь отворилась. Мансур увидел перед собой вихрастого мальчишку, споткнулся о тяжелый взгляд его, так не вязавшийся с ангельски-кротким личиком: слишком много в нем было нарочитого равнодушия, словно он прожил несколько жизней зараз и о каждой из них глубоко сожалел. Было даже удивительно, что маленький мальчик, оставшийся дома один без родительского надзора, не побоявшись открыть незнакомцу, оставался невозмутимым и чувствовал себя вполне защищенным, словно за его спиной выросли могучие силуэты взрослых.

Мансур не сразу сообразил, что перед ним в выжидательно-молчаливой позе замер его сводный брат. Пройдоха-отец ловко устроился на другом конце улицы и сумел обрасти не только бытовыми наслоениями, но и завести ребенка, который отличался от первого, как римлянин от иудея. Мальчик выглядел отстраненным, в чертах его проступала какая-то пугающая серьезность.

С минуту Мансур пребывал в растерянности, слова не шли у него с языка. Перед ним был странник, заблудившийся в лабиринте миров, и Мансур почувствовал себя в шкуре Миклухо-Маклая, окруженного коренными жителями Новой Гвинеи.

— Как тебя зовут? — спросил он, наконец, в воцарившейся тишине, чтобы отвлечься от исподволь нараставшего ужаса.

— Никита, — просто ответил мальчик, не отводя взгляда, настолько пронзительного, что казалось, будто он просвечивает собеседника, как рентген. Можно подумать, он только и ждал, когда незнакомец спросит его имя.

— А где твои родители?

— Папа на работе, а мама — в больнице.

В воображении Мансура предстала жуткая семейная сцена, бенгальски искристая ссора, в ходе которой пьяная сволочь, разбуянившись, хватается за нож, резко сует его под ребро, и жертву на «скорой» с завываниями увозят в больницу. Голос Никиты при этом не выражал никакой печали. Он очень любил свою мать, но при расставании с ней не испытывал глухой беспросветной тоски, какую испытывают почти все дети, оставленные на попечении злых менторских теток. Он мог бы легко обойтись без матери, без отца, бабушки, брата, друзей. Никита как бы жил вне мира, продолжая делать свое, никому не нужное, когда давно пора было остановиться.

— А почему ты не в школе?

— Я не люблю школу, — сказал Никита удивленно, все больше впадавший в эскапизм. — Там много шума.

Мансур вспомнил свою школу, садистическую, позднесоветскую: одноклассники инстинктивно выбирали жертву, какого-нибудь доходягу, который на физкультурном построении стоял последним, налетали на него всей когдой и издевались, пока не надоедало. Скуку навевали дробь, граничные условия и уравнения, их приходилось изучать за холодными партами. Топили в школе прескверно, в оконные щели задувал

злой ветер, дети сидели в верхней одежде и подолгу расписывали шариковые ручки, в которых застывали чернила.

— Да, школа не самое лучшее место, — согласился Мансур, овеянный воспоминаниями, от которых и во взрослой жизни нельзя было отбиться. — А что случилось с твоей мамой?

Никита опустил глаза, но в лице несколько не изменился.

— Она больна. Тяжело больна. Ей нужна операция... Деньги... Много денег...

Мансур представил старого, загнутого крюком отца: он горбился на заводе, не зная, где взять лишнюю копейку, чтобы вернуть этому мальчику мать. У Мансура были деньги. Он мог бы покрыть все расходы — теперь-то что, теперь деньги не нужны ему вовсе! Но он вспомнил про Хасана: тот нервно курил, дожидаясь возле подъезда.

— А что ты делаешь дома один? — спросил.

— Я играю. Хотите посмотреть?

Никита распахнул дверь настежь. Мансур молча кивнул и вошел в квартиру.

Детская комнатка Никиты была аккуратно прибрана: никаких тебе свалок игрушек под ногами, машинок, солдатиков, рассыпавшихся частей конструктора — все лежало на своих местах. Никита играл в какую-то странную, недетскую игру, и в этой тихой игре его не находилось места посторонним. Никаких безобидных салочек — догоню — и по спине, — мальчишеских войнушек, междоусобиц «двор на двор», когда вторгались чужаки, как это было в Мансуровом детстве. Он играл один, с самим собой, игра его была лишена воображения. С маниакальной точностью он раскладывал предметы в ряд, сортировал их по величине и объему, находя в этом монотонном многочасовом занятии успокоение.

Еще Никита рисовал. Его рисунки, мрачные, набросанные на белые листы бумаги серыми штрихами простого карандаша, тоже отличались какой-то необычайной зрелостью. В альбоме повторялся, как рыбак в отражении воды, один и тот же сюжет: путники, Христос и двое его учеников, один из которых Клеопа. Христос уже распят, жители Иерусалима узнали о чудесном исчезновении Его тела из гроба. Желая быть неузнанным, Он явился ученикам в виде простого путника и стал расспрашивать о случившемся в городе. Из их рассказа Христос понимает, что даже ученики не верят до конца в божественность Его происхождения и в чудо Воскресения. Картина называлась «Христос на пути в Эммаус».

Никита взял карандаш и зашорхал по бумаге размашистыми конькобежными линиями. Сосредоточенно сопя и внимательно хмурия брови, он выписывал фигуру новоявленного Христа, принявшего за людей крестную муку. На лице Его живо выделялись грустные, испуганно-удивленные, как у всех евреев, глаза, бледные губы чуть тронула улыбка всепрощения. С особым тщанием Никита прорисовывал Христовы кисти, чуть удлиненные, его гибкие, как змеи, пальцы, тонкие и выразительные, поражающие своим благородством, продолговатые ногти с белыми лунками.

— Почему ты рисуешь один и тот же рисунок? — спросил Мансур, утвердившись за его спиной.

— У меня не получается. Это все неубедительно. Вы же видите, они не поверили.

Он сделал еще один набросок: все тот же печальный Христос, окруженный учениками. По их словам, многие женщины Иерусалима сошли с ума, ибо им привиделся Христос, воскресший после распятия. Он выслушал их с кротким смирением, еще не открывая всей правды, зная, что грустная улыбка убедительнее перекошенного от ярости лица. Но Никите хотелось, чтобы они уверовали, опознав в словах Его беспримесную правду.

Вдруг Никита протяжно взвыл, пытаясь заглушить рвущийся из печени истерический крик, отшвырнул карандаш в сторону и стал рвать альбом на кусочки,

задыхаясь от мучительных слез творческого бессилия. Такая реакция казалась удивительной для замкнутого мальчика с безнадежной узостью эмоциональной сферы. Мансур что-то слышал о необычных экземплярах человеческой породы, о странных детях, запертых в ледяной скорлупе своего одиночества, затоптавших в себе любые сантименты. Отгородившись от реальности, они создают сияющие аутичные миры, находя спасение в этом каждодневном подвиге. Сквозь детские черты отщепенцев проступала обреченность взрослого человека, который сознательно вычитал себя из мира, зная, что его не переделать.

Никита все время рисовал, словно это был единственный способ выжить. Хотя и жизнь его давно превратилась в какую-то искусственность, так же мало походившую на ускользающую от грифеля его карандаша реальность бытия, как аллегория или опера. Он сторонился мира, чувствуя себя в нем улиткой без домика, существом с содранной кожей, сторонился торжествующего, наглого, сознающего себя зла, наслаждающегося абсолютной безнаказанностью. Но оно всякий раз проступало на бумаге, как проступают годовые кольца на срезе пня. Пусть и не зло даже, а только бесконечная грусть неверия, отчаяние, тоска.

Творимые Им чудеса не вытравивали из людей мучительного сомнения: клявшиеся быть до конца отвернулись, остальные рассеялись, впав в великое уныние. Писано бо есть: поражу пастыря, и раздутся овцы стада. Христос не сумел переделать мир, куда уж нам, грешным, эти заоблачные выси.

— Даже у Него не получилось, — сказал Мансур, положив широкую теплую ладонь на хрупкое Никитино плечо. А тот все рисовал, рисовал, словно хотел перерисовать новозаветную историю, в которой Богочеловек, уподобившись агнцу, принес в жертву Себя.

И в эту минуту на фоне расхристанного альбома и смятых рисунков становилось очевидным, как примитивно зло и как жалко это злорадное ничтожество Хасан, снедаемый мстительными чувствами, — ему необходимо посадить кого-то в лужу, чтобы почувствовать себя человеком. Зло дается без каких-либо усилий, достаточно плыть по течению и соблюдать определенные правила, как их соблюдают люди, страдающие синдромом навязчивых ритуалов: если, например, не постучать по дереву, случится сглаз; если не нахамить кому-либо в трамвае или очереди — день прошел зря; не обидеть слабого, не унижить старого. Вдобавок, нет ничего добрее зла, которое не требует от человека личностного роста, лишь потакания своим умыслам, а антихрист — лучший из людей, зеркало, в котором отражается каждый человек со всеми его недостатками, радуясь, что он не одинок: мы, брат, одного поля ягоды.

Хасан и его дружки лили кровь во спасение, уверовав, что если основательно пострадать — год выдастся удачным: рыбаки заарканят большого сома, а амбары будут лопаться от хлеба, свезенного для молотбы.

Такая жалость охватила Мансура — всех хотелось обнять, простить: и заурядного уголовника Хасана, и махровую дуру Иркут, и всех, всех.

Мансур обнял Никиту и крепко прижал к груди. Сегодня он никуда не пойдет.